

Юрий Бондарев

СТЕПЬ

Иногда я пытаюсь вспомнить первые свои ощущения жизни, первые прикосновения к миру, вспомнить с надеждой, что это может мне что-то объяснить, возвратит меня в наивную пору счастливых удивлений, смутного восторга и первой любви, вернуть то, что позднее, уже зрелым человеком, никогда не испытывал так чисто и пронзительно.

С каких лет я помню себя? И где это было? На Урале, в Оренбургской степи? Когда я спрашивал об этом отца и мать, они не могли точно восстановить в памяти подробности давнего моего детства.

Так или иначе, много лет спустя я понял, что пойманное и как бы остановленное сознанием мгновение самого высшего счастья — это чудотворное соприкосновение мига прошлого с настоящим, навсегда утраченного с неудовлетворенностью, детского со взрослым, подобно тому как соприкасаются золотые сны с явью. Но, может быть, первые ощущения — лишь неясный толчок крови моих предков во мне, моих прапрадедов, голос крови, вернувшей меня на сотни лет назад, во времена какого-то переселения, когда над степями носился по ночам дикий, разбойничий ветер, мотал, исхлестывал травы под лиловым лунным светом и скрип множества телег на пыльных дорогах перемешивался с перевозданной трескотней кузнечиков, заселивших своим сопровождающим звоном многоверстные пространства, днем выжигаемые злым солнцем до горячей сухости пахнущего лошадыми воздуха?..

Но первое, что я помню, — это свежесть и сырость раннего утра, сочные, мокрые травы, тяжелые от росы, высокий берег реки, где мы остановились, видимо, после ночного переезда.

Я сижу в траве, укутанный во что-то пахучее, теплое, мягкое, наверное, в овчинный тулуп, сижу среди сгрудившихся тесной кучкой моих братьев и сестер (которых у меня никогда в ту пору не было), а рядом с нами, тоже укутанная во что-то темное (ясно помню только деревенский платок на ее голове), какая-то бабушка, кротко-тихая, уютная, домашняя вся. Она чуть наклонена к нам, как бы своим телом давно согревая и защищая от рассветного холода (это вижу и чувствую совершенно отчетливо), — и все мы смотрим как очарованные на чудовищно огромный, малиновый, поднявшийся из травы на том берегу шар солнца, такой неправдоподобно огненный, такой искрящийся в глаза брызгами лучей, весь отраженный на середине розовой неподвижности воды, что все мы в счастливом безмолвии, в затаенной ритуальной радости и ожидании сливаемся с его утренним теплом, уже ощутимым нами на увлажненном росой берегу безымянной степной реки.

Но удивительно — как в кинематографе или во сне, я вижу высокий бугор, траву, реку, солнце над ней и нас всех на том бугре, всех наклоненных слева направо, темную нашу кучку, укутанную на холодке рассвета тулупами, и бабушку или прабабушку, возвышающуюся над нами, — вижу все это словно со стороны, но не помню ни одного лица. Лишь белое, смутное, не лицо, а доброе пятно под деревенским платком ощущается мною, рождая чувство детской защищенности и невнятной умиленной любви к ней и к этой прелести открывшегося на берегу реки утра, неотрывного от неясного лица никогда позднее не встречавшейся мне бабушки или прабабушки...

Когда же я вспоминаю этот осколочек полуяви, полусна, то испытываю непередаваемо покойное, подхватывающее меня мягкими объятиями счастье, как будто передо мной открылась вся доброта мира и все человеческие чувства соединились в моей душе в тот миг поднявшегося из травы солнца, встреченное, увиденное нами где-то в пути, в длительном переезде куда-то. Куда?

Странно вдвойне: я помню себя все время в движении, помню освещение и запахи, вольные, степные, но чаще уютные, успокаивающие и вместе тревожащие душу, как ожидание переезда, ожидание медленного приближения к невиданной и неизведанной красоте, к обетованной земле, где все должно быть радостью.

И встает из уголков моей памяти серый, дождливый день, большой деревянный дом неподалеку от переправы через широкую реку, за которой туманно проступает кадкой-то расплывчатый в своих очертаниях город, с церквями и садами, что-то не совсем определенное, четкое по предметам, но все-таки большой город.

Я не вижу самого себя — в доме ли я или возле дома. Я лишь представляю мокрую завалинку, наличники резные и истоптанную копытами дорогу — от дома к реке — и чувствую лепет дождя и что меня сейчас позовут, а вокруг в сыром воздухе теплый запах лошадей, сбруи, навоза, запах хлеба — эти удивительные запахи, вечные, как жизнь, как движение, всегда томительно беспокоящие меня до сих пор.

Но почему во мне, городском человеке, живет это? Все те же толчки крови моих предков? Уже будучи взрослым человеком, я спросил у моей матери, когда был тот день, тот дождь, и переправа, и город за рекой; она ответила, что меня тогда не было и на белом свете. А вернее — мне кажется так, — она не помнила того дня, как не помнил и отец одной ночи, которая навсегда осталась в моей памяти.

Среди темноты я лежал на арбе в душистом сене, таком пряном, медово-сладком, что кружилась голова и вместе кружилось над головой черное звездное небо, устрашающе далекое и огромно-близкое, какое бывает только в ночной степи, и перед моими глазами колюче мерцали, шевелились, горели, тайно-действенно перестраивались созвездия, среди них сияющим белым

дымом тек, двумя потоками расходился Млечный Путь, что-то происходило, совершалось там, в темных высотных глубинах, пугающее, счастливое, непонятное...

А внизу наша арба медленно переваливалась во степной дороге, и я словно плыл между небом и землей с замирающим от восторга сердцем. Невысказанный восторг вызывало еще то, что все это разверстое надо мной черно-звездное пространство вселенной и вся чернота летней степи были туго заполнены металлическим звоном сверчков, неистовым, страстным, не прекращающимся ни на секунду, и, казалось мне, будто сверлило серебристо в ушах от царственного блеска распыляющегося Млечного Пути...

И лишь по-земному подо мной лениво покачивалась, поскрипывала и размеренно двигалась арба, пыль мягко хватала колеса, доносилось тихое, влажное пофыркивание невидимых внизу лошадей, чувствовался запах сена и приятного конского пота. Эти привычные звуки и запахи возвращали меня на землю, в то же время я не мог оторваться от втягивающего своими необъяснимыми звездными таинствами неба, испытывая почему-то неизбывную радость перед непонятным миром до сладостного комка в горле. «Я всех люблю, — думал я. — И все тоже любят меня. И так будет всю жизнь».

Потом рядом со мной зашевелился отец, и я услышал возле себя заspanное его побрякивание, ощутил запах его табака, одежды, знакомый и терпкий; отец, смутно чернея, сел на сене, поглядел по сторонам, на едва белеющую дорогу, осторожно взял винтовку и двинул затвором с легким железным стуком, вынул обойму и вщелкнул ее опять, проверив патроны, протерев их рукавом. Затем отец вполголоса сказал матери, что впереди станица и в ней пошаливают: три дня назад там убили кого-то. Я замер, закрыл глаза. Только через несколько лет я выразил словами тот миг нарушенного равновесия, спросив его, убил ли он сам когда-нибудь человека? И как это было? И страшно ли убивать? И зачем?

В двадцать один год, вернувшись с войны, я этого вопроса отцу уже не задавал.

Но и никогда потом в жизни не повторялось того единения, слития с небом, того немого восторга перед всем сущим, что испытал тогда в детстве.

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения невозможно в связи с ограничениями по IV части ГК РФ.

Эту книгу вы можете почитать в
Оренбургской областной универсальной
научной библиотеке им. Н.К. Крупской
по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20
тел.: для справок: (3532) 77-92-66

